

Социологический ежегодник, 2009. Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН.

Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социальной психологии; Кафедра общей социологии ГУ – ВШЭ. Ред. и сост. Н.Е.Покровский, Д.В.Ефременко. М., 2010.

I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Статьи

А.Б. Гофман

МОДА, НАУКА, МИРОВОЗЗРЕНИЕ: О ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В РОССИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ¹

О модах в современной теоретической социологии

Как известно, мода действует в науке, так же как и во многих других областях культуры. Это относится даже к естественным наукам, не говоря уже об общественных и гуманитарных. Данный факт хотя и не всегда очевиден, но в общем не вызывает сомнений. Другое дело – вопрос об отнесении тех или иных конкретных явлений науки к моде: что следует

¹ В статье частично использованы материалы некоторых предыдущих работ автора. См.: Социология и гражданская религия в современной России // Социология и современная Россия / Под ред. А.Б. Гофмана. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 84–107; Теоретическая социология в России: Возможности и перспективы развития / Резник Ю.М., Тощенко Ж.Т., Гофман А.Б., Москвичев Л.Н., Щербина В.В., Перепелкин Л.С. // Личность. Культура. Общество. – М., 2007. – Т. 9, вып. 4. – С. 112–129; Социология как мировоззрение и российское общество сегодня: Доклад на III Всероссийском социологическом конгрессе. – Москва, 21–24 октября 2008 г.: Сессия 1. Проблемы теории в мировой и российской социологии. – Режим доступа: http://www.isras.ru/abstract_bank/1208174977.pdf

относить к моде, а что нет? Здесь, конечно, точки зрения гораздо более разнообразны и противоречивы. И это неудивительно, так как мода всегда и везде, в том числе и в одежде, идет рука об руку и переплетается с другими, немодными, факторами. Ясно также, что приписывание модного характера тем или иным научным идеям или высказываниям чаще всего воспринимается как оскорбление и отвергается их авторами или теми, кому эти идеи и высказывания почему-либо дороги. То же самое относится, скажем, к искусству и литературе. Заметим, что по существу заблуждаются и те, кто рассчитывает оскорбить кого-либо констатацией модности чего-либо, и те, кто оскорбляется подобной констатацией.

Как и в других областях культуры, присутствие и влияние моды в науке невозможно оценивать однозначно, негативно или позитивно. Мода в науке, как и в искусстве, может, хотя и не обязательно, играть вполне позитивную роль и стимулировать ее развитие. Многие выдающиеся явления в науке и в искусстве начинались как моды, становились модами или были в моде, но это не помешало им стать классическими и остаться в них на века. В моде при жизни их создателей были произведения Пушкина, теория относительности Эйнштейна, психоанализ Фрейда, философия Бергсона, кибернетика и т.д., не говоря уже о более «легких» жанрах с их собственной классикой. Сегодня никто уже не квалифицирует эти творения как «моды», хотя в свое время они наделялись модными значениями. В общем, будущее, когда оно становится прошлым и настоящим, обнаруживает, *что* было *только* модой, а *что* – еще и фундаментальным или даже выдающимся культурным творением, которое надолго остается в актуальном интеллектуальном обращении или к которому постоянно возвращаются.

Социология, на мой взгляд, по причинам, заслуживающим специального рассмотрения, относится к числу научных дисциплин, особенно подверженных влиянию моды. Это касается как социологии вообще, так и того, что находится «внутри» нее: теорий, понятий, методов, проблематики и т.д. Как и в любых других областях, в которых присутствует мода, мы

обнаруживаем здесь весь набор атрибутивных ценностей моды, к которым относятся ценности современности, универсальности, игры и демонстративности.² Модными значениями наделяются самые различные явления данной науки, как устойчивые, так и мимолетные, как «позитивные», так и «негативные» с точки зрения ее развития. Некоторые превращаются в более или менее устойчивые тенденции, другие быстро исчезают. Некоторые из них имеют глобальное распространение, другие ограничены социологическим пространством отдельных стран, в том числе России. Социология как таковая в прошлом бывала в моде, чего нельзя сказать о нынешнем времени. Тем не менее, *внутри* самой социологии мода, на мой взгляд, сегодня существует и присутствует весьма зримо и активно. Складывается даже впечатление, что чем меньше мода *на социологию*, тем больше мод *внутри социологии*. Остановлюсь на нескольких таких теоретико-социологических модах, выступающих либо отдельно, либо в различных комбинациях друг с другом.

1. Туманность, расплывчатость и противоречивость теоретических конструкций.

Это мода почти мирового масштаба. В последние годы невнятность и расплывчатость теоретических построений стали восприниматься как синонимы глубины и признаки хорошего вкуса в социологии. Можно сформулировать своего рода закон: *чем более туманна, невнятна и противоречива социологическая (или называющая себя таковой) теория, тем больше у нее шансов стать популярной в научном сообществе.*³

Отчасти такая тенденция объясняется различным престижем, приписываемым определенным занятиям и интеллектуальным ролям в

² Об атрибутивных ценностях моды см.: Гофман А.Б. Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 17–18, 21–31.

³ Ранее мне приходилось уже высказываться об этом. См.: Gofman A. A vague but suggestive concept: The «total social fact» // Marcel Mauss: A centenary tribute / Ed. by W. James and N.J. Allen. – N.Y.; Oxford: Berghahn, 1998. – P. 63–65.

профессии социолога. Попробуем осуществить следующий мысленный эксперимент. Представим себе некую социологическую теорию, которая будет вполне объясняющей, непротиворечивой, ясной, убедительной и т.п., в общем, «хорошую» теорию. Что тогда делать другим специалистам? Очевидно, им остается лишь принять эту теорию и популяризировать ее или же подтверждать ее своими собственными исследованиями, в крайнем случае добавляя к ней еще кое-что. Ни в научном сообществе, ни у широкой публики такого рода занятия не пользуются большим уважением. Правда, можно попытаться опровергнуть эту теорию, что могло бы обеспечить некоторый успех, но все равно такой род занятий будет носить вторичный и не очень престижный характер.

А теперь представим себе другую теорию: состоящую из туманных, расплывчатых идей и намеков, многозначную, противоречивую, незавершенную и т.п. В этом случае у других аналитиков появляется чудесная возможность для самовыражения, для упражнения своих аналитических и интерпретативных способностей и даже, в процессе интерпретации данной теории, для продвижения своих собственных взглядов. Интерпретаций может быть много, они могут носить разнообразный и взаимоисключающий характер. Одни аналитики могут утверждать, что автор имел в виду одно, другие – другое. Разворачиваются оживленные дискуссии, и все, что называется, на виду и при деле. Дебатируемая теория в содержательном отношении может быть разной, «плохой» или «хорошей». Она может содержать выдающиеся, интересные и плодотворные идеи, она может играть в высшей степени стимулирующую роль, но ее успех во многом бывает связан именно с ее расплывчатостью, туманностью, многозначностью, незавершенностью, иными словами, теми ее чертами, которые дают простор для любых толкований, выдвижения и продвижения любых идей, милых сердцу интерпретатора, пропагандиста или критика подобной теории. Особенно значительным такой успех бывает в сочетании с эпатажем и политической ангажированностью.

Классическим примером последнего рода может служить судьба такой выдающейся теории, как марксизм. Известно, что значительная часть интерпретаций Маркса основана на его неоконченных трудах (включая «Капитал»), на фрагментарных рукописях, письмах, а иногда даже черновиках писем. Маркс не опубликовал никакого обобщающего труда, подобного шеститомному «Курсу позитивной философии» Огюста Конта или десяти томной «Системе синтетической философии» Герберта Спенсера, хотя планировал это сделать. Многие главные понятия теории Маркса чрезвычайно туманны и расплывчаты. Несмотря на все эти особенности его творчества, а точнее, благодаря им, марксизм стал одной из самых влиятельных социальных теорий XX века, а марксистская и марксологическая литература по масштабу сравнима разве что с библеистикой и богословской экзегетикой. На сегодняшний день существует огромное множество самых разнообразных интерпретаций Маркса, или марксизмов: близких друг другу и взаимоисключающих; вульгарных, тонких и изысканных; глубоких и поверхностных; более и менее радикальных в политическом отношении; стремящихся базироваться на его текстах или далеко отошедших от них. Значительное число экзегетов стремились и стремятся открыть «подлинного» Маркса. Другие, наоборот, решив, очевидно, что это бесполезно, исполняют своего рода «вариации на тему» Маркса, не обращая на его собственные тексты особого внимания. Нередко то, что сегодня называется марксистской теорией, означает по сути лишь то, что Маркс «мог бы» в принципе так думать и высказываться.

Во избежание неверного истолкования предыдущего, необходимо внести несколько уточнений. Отмеченная мода – отнюдь не то же самое, что сложность и специальный характер научного языка как такового, который, разумеется, не может и не должен быть понятен кому угодно. Я не утверждаю, что чрезвычайная популярность теории Маркса вызвана *только* многозначностью, фрагментарностью и незавершенностью его творчества. Я хочу лишь подчеркнуть, что эти черты, наряду с другими, отчасти объясняют

успех марксизма, а также возвращающуюся время от времени в большем или меньшем масштабе моду на него, возникшую еще при жизни автора. В связи с этим, сегодня многие социологические и политические идеи, не имеющие к Марксу никакого отношения, нередко приписываются именно ему. Нечто подобное мы наблюдаем и с веберизмом: творчество Вебера, на мой взгляд, сходно в данном отношении с творчеством его выдающегося соотечественника. Тем более отмеченная мода присутствует во многих нынешних теориях «постмодернизма», придающего невнятности, туманности и расплывчатости теоретических построений, а также размыванию границ между научным и вненаучным познанием, программное и принципиальное значение.

У некоторых социологов-теоретиков прошлого и настоящего отмеченная туманность носит непреднамеренный характер. Но в последние годы, именно вследствие своей модности, она нередко является результатом специальных усилий и стараний теоретиков, сознательно стремящихся сделать свои конструкции как можно более невнятными и не поддающимися интерпретации.

2. Мода на критику «позитивизма» в социологии и его громогласное опровержение.

Эта мода тесно связана с предыдущей и носит достаточно устойчивый характер, иногда уходя в тень, но время от времени актуализируясь и возвращаясь в сферу теоретико-социологического знания.⁴ При этом «позитивизм» давно уже превратился в своего рода Протея, принимающего самые разные обличья, так что идентифицировать его уже практически невозможно, и непонятно, о чем, собственно, идет речь, когда он решительно

⁴ Об этой тенденции мне также приходилось ранее высказываться. См., в частности: Гофман А.Б. История социологии и история социальной мысли: Общее и особенное // Гофман А.Б. Классическое и современное: Этюды по истории и теории социологии. – М.: Наука, 2003. – С. 360–361; А.Б.Гофман: «Социальная реальность... – это сфера свободы»: Интервью Б. Докторовой с А. Гофманом // Телескоп: Журнал социологических и маркетинговых исследований. – СПб, 2007. – № 2. – С. 2–3.

и беспрестанно отвергается. К настоящему времени мы встречаем множество самых разных «позитивизмов», нередко исключаящих друг друга, иногда реальных, иногда придуманных их критиками. Единственное, что объединяет к настоящему времени различные версии «позитивизма», – это, пожалуй, то, что он стал бранным словом. Многочисленные ниспровергатели «позитивизма» сначала рисуют заведомо упрощенный, утрированный и отталкивающий образ этого нехорошего явления, а затем успешно доказывают его несостоятельность. При этом, оно в действительности не существует нигде, кроме как в истолкованиях самих ниспровергателей. Поколения решительных борцов с «позитивизмом» в социологической теории сменяют друг друга, последующие обвиняют в этом грехе предыдущие поколения самих борцов, но затем сами обвиняются в нем же, так что он никак не исчезает.

На мой взгляд, за критикой подобного мифического «позитивизма» часто скрываются, осознанно или неосознанно, с одной стороны, критика социологии и науки в целом, а с другой – стремление утвердиться в них же.

На это можно, конечно, возразить, что наука не стоит на месте, что изменяются эталоны научности, и старые рамки позитивизма мешают ее дальнейшему развитию. Именно этим и занимаются в последние годы сторонники «постмодернизма» или те, кто пытается внедрить его в социологию. Нередко такого рода критика может быть полезной и играть стимулирующую роль для развития социологического знания. Но в этих случаях речь чаще всего идет не о социологии, а о чем-то другом: о философии познания, социальной мысли, социальной метафизике, социальной эпистемологии и т.п. И не надо последние выдавать за первую; такое смешение препятствует развитию как социологии, так и других форм социального и гуманитарного знания. Очевидно, и на это можно возразить (что часто и делается), утверждая, что мы не знаем, где граница между ними, но это возражение представляется неубедительным. Знаем мы или не знаем, где *точно* проходит эта граница, но мы *точно* знаем, что она существует.

Ее вполне можно провести на основе тех или иных критериев – другое дело, что занятие это опять-таки не для социологии. Иначе нам придется признать отсутствие различия между физикой и метафизикой и вообще между наукой и философией. Между тем, не только наука отделяет себя от философии, но и сама философия нередко выводит себя за пределы научного знания.

Возникает подозрение, что для борцов с «позитивизмом» он стал воплощением теоретической строгости, ясности, убедительности, доказательности и вообще научности. Иными словами, данная мода стала своего рода спутником или обратной стороной моды предыдущей.

3. Мода на провозглашение или предсказание упадка, конца или смерти чего-либо: социальных явлений, институтов или процессов.

В последние годы и десятилетия социологи-теоретики провозгласили множество подобных «концов». Среди них: «конец идеологии», «конец современности», «конец истории», «конец политики», «упадок публичной сферы», «падение публичного человека», «смерть класса» и т.д. В этом списке мы находим и объявления об упадке и конце «социального», «общества» и самой социологии. Можно даже говорить о формировании специфической *социологической эсхатологии и моде на нее*. Теоретики торжественно декларируют и регулярно сообщают своим коллегам и широкой публике не только о том, что их родная дисциплина ни на что не способна, что она не справилась и не справляется со своей исторической миссией, но и о том, что ей вообще приходит конец.⁵ При этом, авторы таких прогнозов, как правило, не спешат покидать свою погибающую науку, и их никак нельзя сравнить с крысами, покидающими тонущий корабль.

4. Мода на провозглашение чего-либо несуществующим.

Подобных мод в мировой и отечественной социологической теории немало. Они связаны с предыдущей модой, нередко вырастают из нее и переплетаются с ней. Это неудивительно, так как от декларации конца или

⁵ Подробней об этом см. ниже.

исчезновения чего-либо до констатации его отсутствия вообще, вечного или нынешнего, – один шаг.

Так произошло с тем же понятием общества.⁶ Тезис о том, что общество уже не существует или не существовало никогда, с разными обоснованиями и с разных позиций (методологического индивидуализма, глобализма, антитоталитаризма и т.д.) мы находим у самых разных теоретиков: Й. Элстера, И. Уоллерстайна, Дж. Урри, А. Турена, опубликовавшего когда-то книгу «Производство общества»⁷, и др. В некоторых трудах доказывалось, что современная социология «больше» не является изучением общества. Очевидно, что такие декларации базируются на нехитрой процедуре сужения понятия общества до масштабов нации-государства, чем социология, разумеется, никогда не ограничивалась. Более того, при своем зарождении и в ходе дальнейшего развития она решительно противопоставляла понятия государства и общества и рассматривала в качестве обществ явления самого разного масштаба и уровня, включая группы, в том числе малые, ассоциации, социальные отношения, взаимодействия и т.п.⁸

При этом, несмотря на отмеченные декларации, понятие общества продолжает широко использоваться, причем, что забавно, даже теми авторами, которые отрицают реальное существование этого явления.⁹ По-видимому, последние, выдвигая тезисы вроде того, что «в современном

⁶ См. об этом: Гофман А.Б. Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности // Социс. – М., 2005. – № 1. – С. 18–25.

⁷ Touraine A. Production de la société. – P.: Seuil, 1973.

⁸ На это, в частности, справедливо обратил внимание Ален Кайе. См.: Caillé A. Note sur l'idée de société // Caillé A. Théorie anti-utilitariste de l'action. – P.: Découverte, 2009. – P. 180–182.

⁹ Так, упомянутый Йон Элстер в своей известной книге «Цемент общества» приходит к категоричному выводу: «Не существует никаких обществ; существуют только индивиды, взаимодействующие между собой». См.: Elster J. The cement of society: A study of social order. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1990. – P. 248. Таким образом, получается, что книга посвящена *цементу того, что не существует*. Подробнее об этом см.: Гофман А.Б. Существует ли общество? Указ. соч.

обществе нужно отказаться от понятия *общества*», просто не могут обойтись без данного понятия, хотя и призывают к этому других.

В конце 90-х годов наш уважаемый коллега и друг Александр Филиппов шокировал отечественных социологов, торжественно заявив, что «теоретической социологии в сегодняшней России нет».¹⁰ Коллеги, естественно, удивились и взволновались, задавшись вопросом: «А чем же мы, собственно, до сих пор занимались?». Но автор тезиса тут же их успокоил, признав, что «теоретическая деятельность» в российской социологии все же есть. На мой взгляд, если так обстоят дела, то это не так уж и плохо. По крайней мере, это лучше, чем обратное: гораздо хуже было бы, если бы теоретическая социология в стране существовала или даже процветала, а теоретической деятельности в социологии бы не было.

Я не думаю, что следует придавать столь важное концептуальное значение различению «теоретической деятельности» в социологии, которая в интерпретации Филиппова выглядит несколько суженной и обедненной,¹¹ и «теоретической социологией».¹² Но с другой стороны, такое различие и противопоставление оказались весьма эффективными с точки зрения привлечения внимания коллег к феномену отсутствия, а именно отсутствия того, чем, как они полагали, они занимались.

¹⁰ Филиппов А. Теоретическая социология // Теория общества: Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. – М.: Канон-пресс-Ц: Кучково поле, 1999. – С.7.

¹¹ С его точки зрения, ее «можно рассматривать либо как результат приложения усилий тех ученых, которые ориентированы преимущественно на эмпирию и теоретизируют, так сказать, *ad hoc*, либо – в редких случаях – как реализацию собственно теоретического интереса». См.: Филиппов А. Теоретическая социология. Указ. соч. – С. 8. Остается неясным, почему «теоретическая деятельность», в отличие от «теоретической социологии», не может быть систематической и ориентированной на целенаправленную разработку теорий различного масштаба, а «теоретическая социология», наоборот, не может квалифицироваться как теоретизирование *ad hoc*.

¹² Она понимается в данном случае как устойчивая совокупность «взаимосвязанных коммуникаций определенного рода». Филиппов А. Теоретическая социология. Указ. соч. – С. 8.

К этому же жанру относится и полное отрицание в российской социологии таких явлений, как модернизация, гражданское общество или средний класс в России, и, соответственно, уместности использования соответствующих понятий применительно к российскому обществу. Правда, нередко после громогласного объявления этого небытия дается небольшое уточнение, что все эти явления не существуют в том же смысле или в том же виде, что в «западных» обществах,¹³ но эти тихие уточнения уже не слышны после предыдущих громких деклараций.

5. Мода на самобичевание, обличения, жалобы, обвинения и упражнения в доказательстве того, что социология вообще и (или) российская социология в частности ничего или почти ничего не смогла, не может и никогда не сможет сделать.

Эта мода непосредственно связана с предыдущими двумя. В определенном смысле она представляет разновидность моды № 3, применительно к самой социологии. Самое любопытное и забавное в этой ситуации состоит в том, что такого рода мода существует не вне, а внутри самой социологии, и сами социологи со своего рода мазохистским удовольствием доказывают полную несостоятельность того, чем они занимаются. Правда, о самих себе конкретно они, конечно, речь не ведут; обычно, имеется в виду дисциплина как таковая и другие ее представители: сам обличитель автоматически оказывается как бы вне критикуемого объекта. Подобная тенденция носит достаточно распространенный характер; она наблюдается и в российской социологии.

Возьмем, например, статью другого моего бесконечно уважаемого друга, видного российского социолога Льва Гудкова, который, несомненно, внес и вносит значительный вклад в развитие как эмпирической, так и теоретической социологии. Статья называется «Есть ли основания у теоретической социологии в России?» и основана на его докладе на XVI

¹³ Уместно спросить в таком случае: а что, собственно, в России существует в том же смысле и виде?

симпозиуме «Пути России» (Москва, Интерцентр-МВШСЭН, 23–24 января 2009 г.).¹⁴

Как и Александр Филиппов, автор констатирует отсутствие «теоретических дискуссий в российской социологии». Но в отличие от Филиппова, он рассматривает это как признак того, что «нет теоретической работы в отечественной социологии (равно как и в других гуманитарных дисциплинах)».¹⁵

Зато, опять-таки, в отличие от Филиппова, Гудков признает, что, по крайней мере, номинально теоретическая социология в России есть. Но уж лучше бы ее не было, настолько она скверная и никуда не годится. Теоретический анализ в данной статье служит выражением горечи, боли, обиды автора на и за социологию и общество. Это в буквальном смысле крик души российского социолога. Отсюда обличительный пафос, морализм, пессимизм и безысходность в констатациях и выводах, касающихся состояния социологической теории в России, да и в мире. Помимо прочего, автор обвиняет российскую теоретическую социологию в следующем: в отсутствии самостоятельного интереса к различным сторонам человеческого существования; в вульгарности представлений о российском обществе; в бедности ценностных оснований; в убогости представлений о человеке и обстоятельствах его существования; в слепоте и неспособности к пониманию своего национального и исторического прошлого и своеобразия своего культурного пространства; в «мелкотемье» и «ползучем эмпиризме» и т.д.¹⁶

Самое удивительное, что, потратив почти все пространство статьи на доказательство полной несостоятельности российской теоретической социологии и недостижимости ее «западного» идеализированного образца, автор завершает совершенно неожиданным выводом. Оказывается, сегодня

¹⁴ Гудков Л. Есть ли основания у теоретической социологии в России? // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – М., 2009. – № 1. – С. 101–116.

¹⁵ Там же. – С. 105.

¹⁶ Там же. – С. 104, 112 и др.

ресурсы нынешней западной социологии тоже заканчиваются, и «она постепенно превращается в академическую резервацию, зону интеллектуального застоя и консерватизма».¹⁷ Зато оценка перспектив российской социологии вдруг становится весьма радужной, причем основание этого внезапного оптимизма выглядит в высшей степени своеобразно: «...Именно в России, как и в других странах догоняющего развития, особенно там, где барьеры на пути модернизации ведут к появлению обходных, параллельных или возвратных процессов, а значит, возникают совершенно новые социальные образования (шунты, заболачивание, тупики человеческого развития и т.п.), там возможности для теоретической работы социолога предельно благоприятны и широки».¹⁸ В такой интерпретации реализация старого политического лозунга «Чем хуже, тем лучше» оказывается чрезвычайно полезной и актуальной для развития социологической теории. Точно так же можно было бы обосновывать благоприятнейшие и широчайшие перспективы развития диетологии в африканских странах, где наблюдается острая нехватка продуктов питания, и население голодает.

Хотя в статье, на мой взгляд, встречается ряд темных мест, явных и скрытых противоречий, которые не снимаются отдельными оговорками, с автором трудно не согласиться в том, что в отечественной социологии очень много мусора, причем, на мой взгляд, его даже не всегда можно назвать социологическим. Прав Гудков и в том, что необходима деэтатизация социальной науки, т.е. отказ от вмешательства государства в собственно научную деятельность. Не вызывает сомнений и то, что нередко использование «западных» понятий и теорий российскими социологами совсем не означает их понимания и уместности в определенных социокультурных контекстах, что оно не дает прироста нового знания, будучи лишь признаком участия в интеллектуальной моде и чисто внешней

¹⁷ Там же. – С. 116.

¹⁸ Там же.

демонстрацией профессионализма. Мне тоже нередко приходится сталкиваться с подобным явлением, когда социологи, в частности молодые, перечисляя некий «джентльменский набор», т.е. список, состоящий из нескольких классических и современных известных имен зарубежных авторов, вырывая из их текстов какие-то фрагменты, совершенно не понимают, о чем речь, толкуют их произвольно, пускают обширные клубы теоретического тумана (см. моду № 1) или же изрекают банальнейшие истины, без всякой содержательной необходимости апеллируя к славным именам.

Но методология анализа моего уважаемого коллеги, приводящего его к сверхнегативным оценкам состояния российской социологии, а заодно и российского общества, вызывает сомнения. Я имею в виду, прежде всего, способы сравнения и эталоны для этих оценок.

Вслед за И.С. Коном и В.А. Ядовым Гудков признает, хотя и вскользь, чрезвычайно кратко (эта краткость бросается в глаза, особенно на фоне пространных и развернутых обличений, возмущения, горьких и печальных констатаций), «некоторый прогресс» и «вполне очевидные позитивные изменения» по сравнению с предшествующим, советским периодом.¹⁹ Но это сравнение, как можно понять из текста статьи, не имеет особого значения. Не имеет значения также и сравнение с зарубежным *реальным, а не идеализированным*, состоянием социальной науки и социального опыта. Автор против «прямого» заимствования понятий и теорий и их «механического» приложения к российской действительности, и это можно только приветствовать. Вопрос только в том, как определить, где «прямое» и «механическое», а где «непрямое» и «немеханическое»? Как и в советские времена, из лексикона которых взяты данные характеристики (оттуда же – и выражение «мелкотемье»), это остается неясным.

Гудков формулирует базовое теоретико-методологическое положение о том, что сравнивать нынешнее состояние социологии и, в частности,

¹⁹ Там же. – С. 106.

социологии теоретической, надо «с уровнем «должного», с тем пониманием теоретической работы, которое присутствует у И.С. Кона и Ю.А. Левады, с «идеальным» представлением о теории, пониманием, для чего она нужна, как связана с «корректной, серьезной исследовательской работой».²⁰ Исходя из этого положения, он приходит к выводу, согласно которому «идет постоянное снижение интеллектуального уровня науки (разумеется, по отношению к **должному** и **ожидаемому**, а не к фактическому уровню советской и постсоветской науки)».²¹ Значительная часть остальных обвинений российской социологии проистекает из этого положения и является его конкретизацией. Удивляет при этом пренебрежительное отношение автора к просветительской, переводческой, преподавательской деятельности в области социологии как таковой, независимо от ее качества. Судя по тексту, в его глазах это деятельность как минимум второго сорта и в общем не дающая плодотворных результатов. Между тем, понимание теоретической работы у Кона и Левады, на которую ссылается Гудков и высокий уровень которой не вызывает сомнений, неотделимо от просвещения и образования, чему они в большой мере посвятили свою жизнь. Конечно, плоды такого рода деятельности бывают видны не сразу, но то, что они существуют, неоспоримо.

Автор неявно рисует некий идеальный образ того, какой *должна быть* истинная социологическая теория, а затем с упоением демонстрирует, насколько реальная теория ему не соответствуют. Если по сравнению с советским периодом, как признает автор, уровень российской социологии все-таки вырос, то почему по отношению к «должному» и «ожидаемому» он постоянно снижается? Ведь в таком случае, даже по отношению к этому идеальному уровню он должен был бы вырасти. Наконец, и это главное, уместно задаться вопросом: кем формулируется этот «должный» уровень науки и кем он «ожидаем»? Может быть, дело как раз в завышенных и

²⁰ Там же.

²¹ Там же. – С. 113.

необоснованных ожиданиях аналитиков, ориентированных на идеальный уровень? Очевидно, что если некие социологи сформулировали и ожидали этот идеальный высокий уровень науки (а заодно и общества), а реальность не оправдала их предсказаний и ожиданий, то это говорит лишь о качестве данных предсказаний и ожиданий. Нынешние же разочарования проистекают, прежде всего, отсюда: некоторые представления о «должном» (в познавательном и нравственном смыслах) и «ожидаемом» оказались «завышенными» или утопическими, в общем, ошибочными. И винить кого-то в том, что реальность не соответствует некоему утопическому идеалу – занятие не новое, но наивное.

Важное место в статье Льва Гудкова занимает обсуждение старого и вечно актуального вопроса о соотношении научного познания и внешних по отношению к нему ценностей. Полностью согласен с ним в том, что если для иллюстрации и критики политической ангажированности социальной науки кто-то выбирает именно тех социологов, ангажированность которых носит оппозиционный по отношению к нынешней власти характер, то ценностная нейтральность таких критиков вызывает, мягко говоря, сильные сомнения. Особенно в России, где критика оппозиции власти прямо или косвенно означает поддержку последней. Очевидно, что в российском обществе, как и в других авторитарных обществах, ангажированность провластная хорошо вознаграждается и гораздо более выгодна, чем противоположная, влекущая за собой разного рода наказания и неприятности для «ангажированных». Понимание этой старой и вечной истины не требует особого интеллекта, поэтому лизоблюды всех мастей в нашей стране всегда чувствовали и чувствуют себя отлично, о чем свидетельствует и классическая русская литература.

Тем не менее, решительное осуждение «постмодернистов» (к этой категории автор относит самые разные направления, в том числе и те, которые, собственно, к постмодернистам обычно не причисляются) за их общее отстаивание принципа «свободы от ценностей» социального ученого

мне представляется необоснованным.²² При обсуждении данной проблемы автор, как и его оппоненты, опирается на сакральную фигуру Макса Вебера. Не могу согласиться с Львом Гудковым в оценке, точнее, недооценке его знаменитой лекции «Наука как призвание и профессия»²³; ссылка на тысячестраничную интеллектуальную биографию Вебера, написанную Й. Радкау²⁴, не выглядит убедительной. Разумеется, в этой публичной лекции Вебер не представил методологические принципы своей социологии *целиком*; это невозможно, и в ней он не ставил перед собой такую задачу. Но это не значит, что там не содержатся некоторые принципиальные идеи, чрезвычайно важные для Вебера и ни в чем не расходящиеся с теми, которые изложены в других его трудах. Упоминаемое Гудковым веберовское различие практических оценочных суждений, с одной стороны, и теоретического отнесения к ценности, с другой, проводившееся под влиянием Риккерта, хорошо известно. Известно также, что немецкий социолог никогда и нигде (в том числе и в упомянутой лекции) не призывал к беспринципности, к отсутствию убеждений и не смешивал их с научной объективностью. Сам он активно занимался общественно-политической деятельностью и не воздерживался не только от теоретического «отнесения к ценности», но и от «практических оценок», постоянно высказываясь по различным актуальным политическим вопросам.

Суть позиции Вебера в данном вопросе, на мой взгляд, можно резюмировать следующим образом. Во-первых, теоретическое отнесение к ценности он никоим образом не отождествляет с политической ангажированностью. Во-вторых, и это, по-моему, особенно важно, он обосновывает не отказ социального ученого от «практических оценок»

²² Замечу, что как раз собственно постмодернисты выступают против этого принципа.

²³ Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 707–735.

²⁴ Radkau J. Max Weber: Die Leidenschaft des Denkens. – München: Hanser, 2005.

(политических, религиозных, нравственных и т.п.), а необходимость отделения, пространственного и времени, его деятельности от этих оценок. Смысл его высказываний, в том числе в «Науке как призвании и профессии», заключается в том, что ученый вполне может выступать и в роли политика или религиозного проповедника, но не там и не тогда, когда он занимается наукой или преподаванием в университете (между прочим, он не разделял последние два занятия), а в другое время и в другом месте. Вебер против смешения научной и «практической» деятельности. Нельзя подменять одну этику другой, выдавать этику политическую или религиозную за научную: подобная подмена не этична и вредна и для науки, с одной стороны, и для политики, религии и других «практических» областей – с другой. Именно в этом, как мне представляется, состоит пафос веберовских взглядов на соотношение науки и вненаучных, внепознавательных ценностей. В данном отношении, кстати, его позиция была близка позиции Дюркгейма.

В своей критике современной российской социологии Лев Гудков, как мне кажется, продолжает две традиции российской социальной мысли, причем как советской, так и досоветской. Это не значит, впрочем, что в России не было и противоположных традиций. Речь идет именно о том, что критик, осознанно или неосознанно, выбрал и продолжил те, которые ближе ему, по крайней мере, в настоящее время.

Первая – это традиция нравственного обличения и радикальной критики с позиций утопического идеала, в том числе в сфере социальной науки или под видом социальной науки. Как писал Николай Константинович Михайловский, выражая эту фундаментальную традицию российской мысли, социология «должна начать с некоторой утопии»²⁵, т.е. с того самого «должного» и «ожидаемого», о котором см. выше.

²⁵ Михайловский Н.К. Записки профана // Михайловский Н.К. Соч. – СПб.: Русское богатство, 1896. – Т. 3. – С. 404.

Вторая традиция, воспроизводимая Гудковым и тесно связанная с первой, – это высокая степень политической и нравственно-практической ангажированности.²⁶ Даже взгляды баденской школы неокантианства, касавшиеся методологических проблем научного познания и далекие от политики, в России оказывались втянутыми в политические баталии. Тот же Генрих Риккерт в предисловии к русскому изданию своей «Философии истории» жаловался на то, что его взгляды в России постоянно пытались связывать с политическими спорами и видеть в них какую-то политическую тенденцию.²⁷ Об этой же традиции Семен Людвигович Франк в знаменитом сборнике «Вехи» (1909) писал: «Теоретическая, научная истина, строгое и чистое знание ради знания, бескорыстное стремление к адекватному интеллектуальному отображению мира и овладению им никогда не могли укорениться в интеллигентском сознании. Вся история нашего умственного развития окрашена в яркий морально-утилитарный цвет».²⁸ Эта традиция была многократно усилена в советское время с его принципами партийности и классового подхода, когда «объективизм» считался гораздо более страшным теоретико-методологическим грехом или преступлением, чем «субъективизм».

В настоящее время, на мой взгляд, от этих двух традиций необходимо отказаться в пользу другой традиции, также присутствующей в российской культуре, хотя и не так ярко выраженной, как две предыдущие, а именно традиции обоснования важного значения, самоценности и автономии науки в сфере социального и гуманитарного знания. Как писал Макс Вебер, причем отнюдь не на потребу широкой публике или исключительно для студенческой аудитории, а выражая свое глубокое убеждение, «в стенах

²⁶ Подробней об этом см.: Гофман А.Б. Эмиль Дюркгейм в России: Рецепция дюркгеймовской социологии в российской социальной жизни. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – С. 70 и дал.

²⁷ См.: Риккерт Г. Философия истории. – СПб.: Жуковский, 1908. – С. xiii–xiv.

²⁸ Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи. – М.: Новости, 1990. – С. 153.

аудитории («аудитория» в данном случае, как видно из контекста, выступает не только как место преподавания, но и как символ занятий наукой – А.Г.) не имеет значения никакая добродетель, кроме одной: простой интеллектуальной честности».²⁹ Россия, можно сказать, выстрадала идею автономии научного знания, право на неангажированную социальную науку и возможность заниматься ею. Как бы это ни было сложно, эту идею, следует всячески развивать, культивировать, пропагандировать и практически применять.

Если судить с точки зрения «должного» и «ожидаемого», то в мире, даже в самых «передовых» социологических странах, вряд ли найдется реальная социология, соответствующая подразумеваемому идеально-утопическому образу.³⁰ Все дело, конечно, в критериях, эталонах, точках отсчета, в том, с кем или с чем сравнивать: с идеальным образом социологии, с ее прежним состоянием в собственной стране, с реальным или идеализированным состоянием в других странах.

На одном международном конгрессе мне довелось слушать выступление одного из ведущих греческих социологов о состоянии социологии в его стране. При всем уважении к стране, давшей миру идею демократии, из его рассказа у меня сложилось впечатление, что в сравнении с теперешними и прошлыми достижениями российской социологии успехи греческих социологов выглядят довольно скромно. Но надо было видеть, с какой гордостью и с каким достоинством он о них рассказывал! Думаю, это объясняется, в частности, тем, что он имел в виду не «должное», а реальное

²⁹ Вебер М. Наука как призвание и профессия. Указ. соч. – С. 734.

³⁰ В частности, мнение о том, что в европейских или американских университетах разработка теорий, преподавание и исследовательская работа «более или менее соединены в одно целое» (См.: Гудков Л. Есть ли основания у теоретической социологии в России? Указ. соч. – С. 111), мне представляется не соответствующим действительности. Конечно, разрыв между этими сферами в российской социологии слишком велик, но в определенной степени он неизбежен и нормален.

состояние социальной науки в своей стране и в мире, и его «ожидаемое» было не так далеко от реальности.

Полагаю, что в сравнении с греческой социологией достижения российской весьма значительны. И не только в сравнении с греческой, но и со многими другими. Когда мы, зачастую вполне обоснованно, выражаем недовольство состоянием нашей социологии в целом, и теоретической в частности, то, конечно же, явно или неявно сравниваем ее с некоторыми так называемыми «западными» странами с развитой традицией социологических исследований – такими, как Франция, США, Германия или Польша. В таком случае положение выглядит несколько хуже. Я имею в виду не только сложившиеся теории и результаты исследований, но и этический аспект развития науки, в частности, клиентелизм, куначество, плагиат, существование рынка «диссертационных услуг» и т.п. Это отражает общее состояние нашей научной социологической этики, моральный и интеллектуальный климат в научном сообществе. Но несмотря на это, даже в сравнении с ведущими социологическими державами мира положение не столь катастрофическое, как это выглядит в некоторых аналитических трудах.

В высшей степени актуальными остаются слова Юрия Александровича Левады, сказанные им сорок лет назад: «Завышение ожиданий – факт довольно закономерный, он создает некоторое напряжение, способствующее развитию науки, хотя иногда и порождает преждевременные разочарования. Слишком большие ожидания часто бывают неуместны».³¹

Нам необходимо отказаться от завышенных ожиданий, утопизма и снобизма в оценках; такой подход по меньшей мере не социологичен. И тогда придется признать: несмотря на то, что состояние российской социологии в целом, и теоретической в частности, разумеется, далеко от

³¹ Левада Ю.А. Лекции по социологии // Левада Ю.А. Лекции по социологии; Семенов Ю.Н. Киноискусство и массовая аудитория. – М.: Вече, 2008. – С. 13.

идеального и впасть в эйфорию нет оснований, оно не столь плачевно и безнадежно, как это выглядит с позиций определенной моды и завышенных ожиданий. Я мог бы привести достаточно обширный перечень достижений постсоветской российской социологии, но не стану этого делать из-за отсутствия места и опасения не отметить что-либо достойное упоминания в этом перечне. Думаю, непредвзятый читатель и сам вполне сможет это сделать. Несмотря на ряд проблем и серьезных изъянов, российской социологии есть чем гордиться. Это относится и к ее прошлому, досоветскому и советскому, и к настоящему. Полагаю, что ее реальные достижения заслуживают того, чтобы мы их больше пропагандировали за пределами страны. Кое-что в этом отношении делается, но слишком мало. Серьезные труды российских социологов необходимо больше публиковать в разных странах, переводя их на иностранные языки, распространяя их там и не дожидаясь, пока кто-то это сделает для нас. Здесь можно было бы шире использовать современные информационные технологии. Было бы полезно начать издание англоязычного журнала, представляющего современную российскую социологию.

Перечислю еще несколько мод, имеющих более или менее широкое распространение в российской и (или) мировой социологии.

6. *Мода на всеохватность и хроническая претензия на радикальный и тотальный пересмотр теоретических оснований всего и вся.*³²

7. *Мода на эпатаж, радикализм и претенциозность*³³ *теоретических суждений.* Она пересекается и отчасти совпадает с вышеперечисленными

³² Это относится главным образом к так называемым постмодернистским теориям, но не только. Характерны в данном отношении заголовки некоторых книг известного и модного социолога Брюно Латура: «Мы никогда не были модерными» и «Сменить общество / Заняться социологией вновь». См.: Latour B. Nous n'avons jamais été modernes: Essai d'anthropologie symétrique. – P.: Découverte, 1997; Latour B. Changer de société / Refaire de la sociologie. – P.: Découverte, 2006.

³³ Александр Филиппов в указанной выше статье утверждает, что теоретическая социология в России может возникнуть только как «ряд

модами № 1–6. С ними же связана модность в социологии таких фигур, как Жорж Батай, Жан Бодрийяр и т.п.

8. *Мода на утилитаризм.* Эта мода последних 15–20 лет носит главным образом российский характер. Я имею в виду не философский утилитаризм, лежащий в основании некоторых социологических теорий, например теории рационального выбора, а своего рода детскую болезнь идеологии утилитаризма в российской социальной науке. Она состоит, в частности, во всяческом подчеркивании и пропаганде полезных свойств предлагаемых или проводимых исследований, позиций, учебных программ, курсов и т.д., которые непосредственно обращены к практике и незамедлительно дадут практический эффект, если только их принять и поддержать тем или иным, в первую очередь финансовым, образом. К реальной полезности эта мода имеет весьма отдаленное отношение.

9. *Мода на консерватизм в самых разных версиях.* Это также преимущественно российская мода последних лет.

10. *Мода на критику либерализма.* К реальному либерализму это не имеет отношения, но либерализм и либералов ругают на каждом шагу, обвиняя их во всех смертных грехах. Эта мода вышла далеко за пределы социальной науки. Один известный российский литератор даже большевизм объявил разновидностью либерализма, хотя, разумеется, ничего общего между ними нет, и для большевиков более лютого врага, чем либералы, никогда не было.

О некоторых проблемах и псевдопроблемах теоретических исследований в социологии

претенциозных теорий». Филиппов А. Теоретическая социология // Теория общества: Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф.Филиппова. – М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 1999. – С. 34. Судя по всему, это утверждение не осталось не услышанным, и за прошедшие десять лет претенциозность в некоторых работах российских теоретиков появилась. К сожалению, она далеко не всегда сочетается с другими достоинствами научной теории.

Позволю себе остановиться на нескольких старых и вечно юных проблемах, имеющих значение для современной теоретической социологии или, по крайней мере, для той сферы, которую нередко обозначают этим термином.

Первоначально уточню, что в социальных науках термин «теория» используется в двух значениях: «нестрогом» и «строгом». Соответственно, в них имеют хождение два вида теорий, «мягкие» и «жесткие». К «мягким» относятся те, которые содержат любую развернутую рефлексию о социальных явлениях. К этому жанру относятся, например, такие классические произведения, как «Теория нравственных чувств» (1759) Адама Смита, «Теория праздного класса» (1899) и «Теория делового предпринимательства» (1904) Торстейна Веблена или «Теория коммуникативного действия» (1981) Юргена Хабермаса³⁴. «Жесткая» теория представляет собой выводимую из определенных исходных допущений совокупность понятий и утверждений, логически связанных между собой и в принципе поддающуюся интерпретации, проверке и опровержению, в том числе эмпирическими данными. Вообще говоря, оба вида теорий выполняют примерно одни и те же функции, состоящие в том, чтобы описать, объяснить, интерпретировать, предсказать явления социального мира. При этом важно иметь в виду, что далеко не всегда процесс конструирования теории заключается в простом применении определенных, заранее принятых правил ее конструирования; чаще, наоборот, эти правила выводятся *post festum*, уже после проведенных теоретических исследований методологами в качестве своего рода «уроков» для будущих теоретиков.

Проблема соотношения теории или, шире, теоретических высказываний и обобщений, с одной стороны, и эмпирического исследования, с другой, так

³⁴ Смит А. Теория нравственных чувств. – М.: Республика, 1997; Veblen T. The theory of the leisure class: An economic study of institutions. – N.Y.: Macmillan, 1899; Veblen T. The theory of business enterprise. – N.Y.: Scribner's sons, 1904; Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981.

или иначе, обсуждается в социологии постоянно, но даже если она специально не обсуждается, исследователи с ней постоянно сталкиваются. Многие аналитики постоянно констатируют ситуацию разрыва между данными сферами.³⁵ Как эта проблема выглядит сегодня? Можно понять недовольство эмпириков сверхабстрактными схоластическими построениями, которые не поддаются не только операционализации, но и интерпретации. С другой стороны, эмпирики, приступая к исследованию, нередко ограничиваются весьма поверхностными, неотрефлексированными допущениями или обыденными суждениями, проистекающими из самых разных источников. В некоторых случаях декларируется приверженность некоей теории или даже «парадигме». Приступая к исследованию какой-то проблемы, некоторые эмпирики говорят: «Мы будем опираться на «активистскую» парадигму или «функционалистскую» парадигму и т.д.». Делается это без всяких обоснований, привлекаемые теории или «парадигмы» реально не играют в исследовании никакой роли, и без них вполне можно было бы обойтись. Иногда, при обсуждении исходных представлений об объекте, допущений и гипотез приходится слышать: «Какая разница, какие слова здесь использовать, это ведь только слова, не в этом дело!». Но в том-то и дело, что дело как раз в этом, да простят мне невольный каламбур. За словами в данном случае стоят определенные теоретические или иные представления, значения, смыслы, которые необходимо обсуждать с самого начала. Уместно вспомнить в этой связи выражение Эжена Йонеско: «Важны только слова, все остальное – болтовня».

Теория зачастую не рассматривается как часть процесса исследования на всех этапах. Иногда теория сводится к тому, что берется несколько дефиниций из словарей и говорится, что параметры «х» и «у» что-то

³⁵ Это относится к социологии разных стран, не только к российской. См., например: Cuin С.-Н. Ce que (ne) font (pas) les sociologues: Petit essai d'épistémologie critique. – Genève: Droz, 2000; Кюэн Ш.-А. В каком состоянии находится социология? // Социс. – М., 2006. – № 8. – С. 13–19.

характеризуют и определяются так-то. Понятие «исследование» зачастую отождествляется с понятием «эмпирическое исследование», а теория воспринимается как нечто готовое. В результате теории воспринимаются как нечто вроде галстуков, висящих в шкафу; считается, что когда социолог приступает к исследованию, то он подбирает себе подходящий к случаю теоретический «галстук» и использует его для целей определенного «исследования». При этом теория рассматривается как нечто, находящееся *вне исследования*: первая и последнее в таком истолковании выступают как разные вещи. Если речь идет о какой-то более или менее серьезной теоретической разработке, то сразу начинаются разговоры на тему о том, «можно ли это операционализировать?» или «как это операционализировать?». Таким образом, вопрос о том, *что* операционализировать, вытесняется вопросом «*как* операционализировать». Если оказывается или кажется, что операционализация здесь и сейчас невозможна, то и говорить тогда не о чем: значит, теория не годится.

На мой взгляд, теоретическая часть исследования начинается в первый день исследовательского проекта и заканчивается в последний. При этом на разных этапах исследования она играет хотя и различную, но одинаково важную роль. Использование теории в исследовании совсем не сводится к ее *выбору*, как это часто бывает. Теория – это деятельность, процесс; она в значительной мере выступает как синоним *теоретизирования*.³⁶ Она не находится за пределами исследования, это неотъемлемая часть исследовательского процесса; она не дается нам в готовом виде и так или иначе должна составлять элемент изучения конкретного объекта на всех его этапах. Применяя теорию в эмпирическом исследовании как некий довесок к нему, разрабатывая ее наспех, кое-как, мы в результате часто оказываемся в плену тех же идеологем и предрассудков, которые были у нас до исследования и которые в результате делают его в лучшем случае

³⁶ В данном случае я отвлекаюсь от различия между теорией и эмпирическим обобщением.

беспольным. Просто «принятая», готовая, не отрефлексированная теория понимается как догма, которую уже нельзя изменить, теряется критичность в интерпретации данных. Очевидно, что если исходные допущения при постановке проблемы были проблематичными и сомнительными, то все исследование в общем теряет смысл, и результаты его мало чего стоят. Именно поэтому основания анализа должны уточняться на каждом этапе исследования. При этом следует иметь в виду, что если какая-то теоретическая конструкция не поддается в данный момент операционализации, то это не значит, что она вообще не годится и нужно от нее отказаться.

Постоянная озабоченность тем, можно ли и как операционализировать определенные понятия и теоретические представления, нередко сковывает теоретическое исследование и препятствует приращению социологического знания. Не случайно социологи в поисках теории в последние годы так часто обращаются за пределы своей дисциплины. Это происходит, в частности, из-за того, что социологи-теоретики просто боятся теоретизировать, постоянно опасаясь упреков в нестрогости их теоретических построений и невозможности их операционализировать.

Важное место в понятийном словаре современной теоретической социологии, в том числе российской, сегодня занимает понятие *парадигмы*. В свое время Джордж Ритцер опубликовал книгу под названием «Социология – мультипарадигмальная наука».³⁷ Вслед за Ритцером наши российские коллеги иногда рассматривают социологию как «полипарадигмальную» науку, а соответствующую теоретическую позицию квалифицируют как «полипарадигмальный подход». Очевидно, что такая позиция направлена против догматизма. Она особенно актуальна и полезна для нашей страны, где на протяжении многих лет господствовало одно «единственно правильное учение», а теперь существует немало желающих утвердить другое

³⁷ Ritzer G. Sociology: A multiple paradigm science. – Boston: Allyn & Bacon, 1980.

«единственно правильное»; впрочем, за разной символикой здесь скрывается одно и то же символизируемое содержание, имеющее одни и те же печальные для страны последствия, причем не только теоретические.

Тем не менее, я полагаю, что Ритцер и те, кто развивает такую же позицию, не правы, потому что по определению парадигм не может быть много, особенно если речь идет об их синхронном сосуществовании. Парадигм в каждый данный момент может быть одна – две, но если их много, то это значит, что *их нет вообще*. Если мы констатируем ситуацию «полипарадигмальности», то это может означать некий теоретический хаос и отсутствие «нормальной» науки в куновском смысле, а ежедневная ломка и постоянный пересмотр теоретических оснований не имеют ничего общего с научными революциями. Скорее подобную ситуацию можно сравнить с мелкими бунтами и мятежами. Отсюда неспособность теории выполнять те функции, ради которых она существует.

Термин «парадигма» существует давно. В русской социальной мысли он существовал уже в начале XX в., хотя тогда его использовали в мужском роде, «парадигм», – как и во французском языке. Затем о нем подзабыли, но благодаря знаменитой работе Томаса Куна (1963)³⁸ он вновь приобрел популярность. Вполне естественно и нормально, что он стал использоваться не только в социологии науки, но и в истории социологии и в общей социологической теории и т.д. Первоначально его использование было вполне плодотворным. А потом началась неразбериха. Сегодня термином «парадигма» в социологии нередко злоупотребляют. Его эвристическое значение было утрачено, так как он стал использоваться как синоним понятий «направление», «теоретическая ориентация» или «школа».

Иногда тот или иной российский исследователь декларирует, что в своем исследовании он будет опираться на «полипарадигмальный подход». Откровенно говоря, я плохо представляю себе, как это возможно. В лучшем случае такую декларацию можно интерпретировать как стремление

³⁸ Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1975.

рассмотреть свой объект с разных точек зрения. Но тогда все равно остается вопрос, требующий ответа: какую из них, собственно, выбирает автор исследования и какую следует принять реципиенту его научных результатов?

Парадигма – это не всякая теория или теоретическая модель, а такая, которая носит более или менее общепризнанный характер и задает способ постановки исследовательских задач и их решений: именно так трактует ее Кун. Иначе парадигма превращается либо только в модное слово, в ненужную этикетку, либо заменяет собой понятие «школа» или близкие ему. Школ, направлений, течений, ориентаций в социологии, как и в любой науке при нормальном, спонтанном ее развитии, без внешних бюрократических, идеологических и прочих принудительных воздействий, бывает, может и должно быть много или мало, в зависимости от различных обстоятельств. Но парадигм, повторяю, много быть не может, особенно в синхронном аспекте.

Итак, теория того или иного масштаба должна стать неотъемлемой составной частью любого социологического исследования. Но мы вновь вынуждены обратиться к вопросу о том, что, собственно, считать социологической теорией. С одной стороны, как уже отмечалось, под видом теорий нередко выступают некие ходячие соображения *ad hoc*, сопровождающие эмпирические исследования, или же некие теоретические довески или «парадигмы», искусственно привязываемые к исследованию и играющие в нем главным образом ритуальную или декоративную роль. С другой стороны, такое положение отчасти объясняется содержанием самих современных теорий, разрабатываемых под рубрикой социологических. Дело в том, что эти теории слишком часто сводятся к сверхабстрактным теоретико-методологическим построениям и дискуссиям, которые можно отнести, главным образом, к таким дисциплинам, как социальная философия, социальная метафизика, социальная эпистемология и т.п., о чем уже говорилось (см. выше о моде № 2). За социологическую теорию выдается теория теории, или теория относительно теории или теорий. Это означает, по крайней мере, выдавать часть за целое или даже за другое целое.

Предметная социологическая теория имеет дело хотя и с конструируемым, но объектом социальной реальности, а не объектом теоретической реальности. Не надо забывать, что социология, не только эмпирическая, но вообще социология – наука эмпирическая, отличная от таких дисциплин, как философия, логика или математика.³⁹ Соответственно, удельный вес предметных теорий и соответствующего типа теоретизирования в ней заведомо должен быть очень значительным, более значительным, чем теперь, а их роль никак не может сводиться к текущему обслуживанию эмпирических исследований *ad hoc*, с одной стороны, и к социальным метатеориям – с другой.

В качестве примера социально-метафизической проблемы, постоянно обсуждаемой в качестве социологической, можно привести приобретающую хронический характер дискуссию о холизме и индивидуализме.⁴⁰

Обе эти позиции базируются на определенных допущениях, которые в принципе не доказуемы и не опровержимы. Социология, даже на теоретическом уровне, занимается изучением *общества* в его различных воплощениях (будь то социальные нормы, ценности, институты, группы, в том числе малые, действия, отношения, взаимодействия, социальные агенты,

³⁹ См., в частности: Левада Ю.А. Лекции по социологии // Левада Ю.А. Лекции по социологии; Семенов Ю.Н. Киноискусство и массовая аудитория. – М.: Вече, 2008. – С. 18 и дал.

⁴⁰ Характерно, что в своей работе 1986 года Раймон Будон, отстаивая принципы методологического индивидуализма, совершенно справедливо выводил их за рамки социологии и относил к сфере теории познания. См.: Boudon R. Individualisme et holisme dans les sciences sociales // Sur l'individualisme: Théories et méthodes / Sous la dir. de P. Birnbaum, J. Leca. – P.: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1986. – P. 46. Тем не менее, эта точка зрения, а вместе с ней и проблематика холизма-индивидуализма продолжают восприниматься как собственно социологические, по-прежнему находясь как бы «внутри» социологии и постоянно проникая в нее. Тем самым социологи вольно или невольно отвлекаются от обсуждения и решения действительно важных проблем.

акторы и т.д.), а не *природы общества*.⁴¹ Мы можем трактовать общество так или иначе, исходя из тех или иных метатеоретических допущений. В частности, мы можем исходить и в каком-то смысле неизбежно исходим из допущения, что общество – это реальная, действенная и активная сущность, и использовать ее, а также ее различные концептуальные формы и воплощения, в качестве описывающей, объясняющей и предсказывающей категории.

Если не брать крайние формы социального реализма и холизма, а также организмическую метафору (сыгравшую, кстати, в целом плодотворную роль в развитии социологического знания), то в своих умеренных проявлениях эта точка зрения основана на признании эмерджентного характера свойств социального целого. Логика таких умеренных холистов, как Маркс, Вильгельм Вундт или Дюркгейм,⁴² хорошо известна и в упрощенном и кратком виде сводится к следующим постулатам: 1) Индивиды взаимодействуют между собой; 2) Из этого взаимодействия возникает общество (социальные институты, нормы, ценности, категории познания, группы, ассоциации и т.п.) как определенный синтез индивидуальных сознаний и поведений (т.е. то, что на языке современного методологического индивидуализма называется эффектом агрегирования); 3) Этот синтез, раз возникнув, уже не сводится к породившей его межиндивидуальной основе, обретает известную автономию и в определенной мере живет своей собственной жизнью в форме коллективных представлений, социальных норм, институтов, течений и т.п.; 4) В качестве автономной реальности общество в свою очередь оказывает влияние на индивидов, которые его не изобретают регулярно, не производят каждый раз заново, а застают в

⁴¹ Подробней об этом см.: Гофман А.Б. Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности // Социс. – М., 2005. – № 1. – С. 22–23.

⁴² Вопреки некоторым сегодняшним поверхностным интерпретациям, Дюркгейм был именно умеренным холистом, в отличие, скажем, от Людвига Гумпловича или Отмара Шпанна.

значительной мере в «готовом» виде и действуют в этой, не ими созданной реальности (последнюю методологический индивидуалист предпочтет называть не «обществом», а «социальным контекстом», «социальной ситуацией» и т.п. индивидуальных поведений).

Методологический индивидуализм делает акцент на постулатах № 1 и № 2, холизм – на постулатах № 3 и № 4. Индивидуализм сосредоточивает внимание на вопросе о том, *как возникают общество, коллективные установки и действия*, постоянно напоминая, что все они исходят от индивидуальных сознаний и поведений, а потому при их объяснении они должны сводиться к этим сознаниям и поведением. При этом предполагают или верят, что такая редукция всегда обладает достаточной объяснительной силой, а индивидуальные акторы, в конечном счете, лучше исследователей, внешних наблюдателей, понимают, что с ними происходит. Холизм, наоборот, скорее сосредоточен на вопросе об *источниках индивидуальных мотиваций и поведений*, рассматривая в качестве реальных, активных и объясняющих сущностей социальные тотальности различного уровня. Если для индивидуалиста в качестве более или менее сформированной, известной и объясняющей реальности выступают индивиды, то для холиста в качестве таковой выступают общества.

Таким образом, каждый из этих двух подходов подчеркивает одну из сторон взаимодействия между обществом и индивидами и очевидным образом дополняют друг друга. И у нас нет никаких оснований полагать, что индивидуальные участники социальных процессов заведомо лучше, чем исследователи, понимают, что с ними происходит, и что если социолог сведет свое объяснение к мотивам индивидуальных акторов, то оно будет удовлетворительным.

В связи с предыдущим необходимо подчеркнуть, что одни и те же постулаты, объяснения и зависимости в социологии вполне могут интерпретироваться как в понятиях индивидуализма, так и в понятиях

холизма. И эти интерпретации могут никак не влиять на само содержание отмеченных постулатов, объяснений и зависимостей.

Поскольку социологи, и теоретики и эмпирики, исследуют не столько «природу», «сущность» общества, сколько *общество*, то они так или иначе полагают последнее в качестве определенной реальности. Это значит, что в повседневной исследовательской практике они не предаются рефлексии на темы о том, «реально ли общество?», «в каком смысле оно реально?», «возможно ли общество?», «как возможно общество?» и т.п. Эти вопросы, конечно, обсуждаются, но, как правило, либо в свободное от исследований время, либо специалистами-метатеоретиками, либо, наконец, тогда, когда сами социологи уходят в сферу метатеории, на время или навсегда. Иначе, если бы исследователи непрерывно рефлексировали на подобные темы, то они просто не могли бы работать. Возникал бы известный «эффект сороконожки», которая не могла бы передвигаться, если бы постоянно размышляла о том, как возможно ее движение.

Точно так же физики исходят из предположения о том или веры в то, что природа существует и представляет собой особого рода реальность. Если бы они постоянно размышляли и дискутировали о том, «существует ли природа?», «в каком смысле существует природа?» или «как возможна природа?», то им пришлось бы бросить свои занятия. Я не считаю, что подобные кантовские вопросы не следует рассматривать, но, опять-таки, это особый жанр, и заниматься им всерьез могут и должны современные коллеги Канта, т.е. философы, эпистемологи и метатеоретики. Главное, не смешивать этот жанр, очень нужный для социологии, с самой социологией, и не выдавать его за последнюю. Подобное смешение, как уже отмечалось выше, вредно и для философии и метатеории, с одной стороны, и для социологии - с другой. Опасность такого смешения состоит, в частности, в том, что и социологи, и публика постепенно начинают думать, что всякого рода метатеории и паратеории, выступающие от имени социологии, – это и есть собственно социологическая теория, что в свою очередь ведет к большим

разочарованиям и неверию в то, что такого рода конструкции могут служить средством получения нового знания и приносить какую-то пользу науке и практике.

Распространение социально-метафизических построений вполне может идти рука об руку с упадком теоретического познания социальных процессов, что мы нередко сегодня и наблюдаем.⁴³ Развитие предметных теорий различного масштаба, включая уровень общей теории, остается в высшей степени актуальным. Разумеется, современная социология не стремится к открытию и изучению «неизменных естественных законов», об открытии и изучении которых мечтал Конт, и это очень хорошо. Она вообще стремится избегать слова «закон», предпочитая ему такие термины, как «закономерность» («регулярность»), «зависимость», «модель», «тип» и т.п. Видимо, то же самое происходит и в современной физике. Если же слово «закон» в серьезной социологии и используется, то с разного рода оговорками и уточнениями: подчеркивается вероятностный характер действия законов, ограниченность их действия определенными пространственными и временными рамками, их связь с определенными условиями («если... то»: «если имеют место такие-то условия и факторы, то будут иметь место и такие-то последствия») и т.п. Тем не менее, всякая наука, и социология в частности, обязательно имеет дело с номологическими высказываниями; если их нет, то нет и науки. Номологический характер и универсализм социологического знания – условие *sine qua non* его существования.⁴⁴

⁴³ Об упадке общей теории и недостаточности теоретического познания макросоциальных явлений во французской социологии см.: Кюэн Ш.-А. В каком состоянии находится социология? // Социс. – М., 2006. – № 8. – С. 13–19.

⁴⁴ Это еще раз в последние годы обосновал Джеффри Александер. См.: Александер Дж. Общая теория в состоянии постпозитивизма: «Эпистемологическая дилемма» и поиск присутствующего разума // Социология: 4 М (методология, методы, математические модели). – М., 2004. – № 18. – С. 167–204; № 19. – С. 176–200.

Напротив, контекстуализм и абсолютизация социокультурного релятивизма, идея несопоставимости и несоизмеримости различных социальных контекстов и культур, несостоятельны.⁴⁵ Они вообще не состоятельны, а тем более применительно к науке, в частности, социальной. В связи с этим, идея «индигенизации» социологии, иногда выдвигаемая в последние годы, выглядит по меньшей мере наивной. Ее сторонники вдохновляются стремлением к созданию оригинальных и самобытных теорий, и такое стремление можно только приветствовать. Но распространенное убеждение, что самобытно только то, что «не-западно» или «анти-западно», можно рассматривать как теоретическое и идеологическое недоразумение.

Это не значит, что в социологии не существует национальных школ и традиций. Но такие школы формируются не путем противопоставления своей национальной социологии мифическим «западным», «восточным» или «южным», а во взаимодействии, взаимопроникновении и взаимообмене с различными направлениями мировой социологической мысли. И при этом более или менее общезначимые методы, выводы, результаты в них присутствуют обязательно. Иначе россияне начнут создавать свою российскую социологию, поляки – свою, греки – свою и т.д. Это будет означать конец социологии как науки, а вместе с ней – социальной и культурной антропологии (откуда отчасти происходят утрированные представления о культурном релятивизме и контекстуализме социально-научного знания) и других наук о человеке и обществе. То же самое произойдет с футболом и оперным искусством, если каждая страна, вместо того, чтобы развивать и совершенствовать соответствующие сферы, делая их конкурентоспособными, начнет создавать свой собственный футбол и свое собственное, ни на что не похожее, оперное искусство.

⁴⁵ Отмеченный контекстуализм в значительной мере стимулируется «постмодернистской социологией» с ее акцентом на локальном, специфическом, своеобразном в противовес так называемым «великим нарративам».

К самоликвидации социологии, по существу, ведет и модная в последние годы полная редукция научного социологического знания к обыденному или к влиянию властных структур и институтов, как политических, так и внутринаучных.⁴⁶ У сторонников данных позиций идеи саморазвития и автономии научного знания и поисков истины предстают чем-то вроде «ложного сознания», фантома, который, вслед за Марксом, они очередной раз хотят «разоблачить». Эта редукция исходит из неявного предположения о том, что научное знание не обладает ни автономией, ни самоценностью, ни собственной логикой развития, что источники и факторы этого развития следует искать исключительно или преимущественно во вненаучных сферах. Такого рода интерпретации, безусловно, искажают картину развития социальных наук. Разумеется, их следует отличать от исследований влияний факторов власти, как и других «внешних» факторов, на науку: подобные исследования, несомненно, необходимы и могут быть в высшей степени плодотворными. Но названный редукционизм и исследование воздействия на науку «внешних» факторов – это совершенно разные вещи.

Одно из проявлений тенденции к всеохватности, о которой шла речь выше, – это непомерно большой удельный вес книг, посвященных социологии вообще или социологии в целом. В данном случае я имею в виду теоретическую социологию в России. Наша страна с полным основанием может гордиться тем, что первая в мире книга, озаглавленная «Социология», вышла в России. Это была книга видного русского социолога Евгения Валентиновича Де-Роберти, опубликованная в 1880 году в Санкт-Петербурге.⁴⁷ Но большой поток книг с таким или близкими заголовками,

⁴⁶ Последняя тенденция обнаруживается, в частности, в трудах Мишеля Фуко и Пьера Бурдьё.

⁴⁷ Де-Роберти Е.В. Социология: Основная задача ее и методологические особенности, место в ряду наук, разделение и связь с биологиею и психологиею. – СПб: Тип. Стасюлевича, 1880. В связи с этим, бытующее в историко-социологической литературе мнение о том, что первой книгой с

наблюдаемый в российской социологии сегодня, на мой взгляд, уже не может служить предметом гордости. Конечно, это можно рассматривать как нормальный результат стремления удовлетворить спрос на учебники и учебные пособия. Но, к сожалению, относительно большое количество названий и тиражей, а также толщина книг, написанных в данном жанре, пока не сопровождается высоким качеством. Кроме того, такое положение может свидетельствовать о том, что российские социологи слишком много занимаются социологией в общем и социологией в целом и слишком мало – отдельными областями и проблемами этой науки. Разумеется, речь не может идти о каком-то нормативном регулировании тематики книжной продукции. Просто, я полагаю, что это определенный симптом, над которым, может быть, следует задуматься. В отличие от некоторых моих коллег, обеспокоенных «мелкотемьем» (см. выше), меня больше тревожит тенденция к тому, чтобы одним махом решить все или почти все проблемы социологии как таковой.

Сегодня за поисками теоретических идей социологи часто обращаются к другим социальным и гуманитарным дисциплинам. Отчасти это вызвано той боязнью теоретической рефлексии внутри социологии, о которой упоминалось выше. В принципе такого рода заимствования всегда имеют место в социальной науке, и для любой науки это явление «нормальное» и часто плодотворное. Но важно *что именно* и *в каком объеме* заимствуется. К сожалению, в сегодняшней теоретической социологии эти заимствования далеко не всегда плодотворны. Иногда они вообще дискредитируют социологическое и, шире, научное знание. Я имею в виду увлечение разного рода «постмодернистскими» конструкциями и авангардной литературной критикой, порождение теоретического тумана под видом теоретической сложности, подмену социологической теории разного рода теориями

таким названием является «Социология» Георга Зиммеля (Simmel G. *Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*. – В.: Duncker & Humblot, 1908), является ошибочным.

схоластическими и даже мистическими, в том числе теми, которые, называя себя социологическими и находясь «внутри» социологического знания, усиленно доказывают несостоятельность социологии и социологических теорий как таковых.⁴⁸ Вместе с тем, связь российской социологии с серьезной исторической наукой, социальной и культурной антропологией представляется недостаточной.

На мой взгляд, в современной теоретической социологии имеет место недооценка кумулятивного характера научного знания. Познавательная цель науки состоит, прежде всего, не в постоянном свержении и обновлении базовых теоретических оснований, не в «перманентной революции» в постижении истины, а в получении и приращении нового знания относительно различных сфер социальной реальности, в их описании, объяснении и предсказании. Сегодня же эта цель в большой мере вытесняется легковесным стремлением разом пересмотреть базовые основания теории и предложить совершенно новые. Но настоящие научные революции не совершаются ежедневно. В современной социологической теории слишком много революционеров, и это мешает ее развитию. К истинно научному творчеству их деятельность имеет отношение далеко не всегда. У многих социологов, по справедливому утверждению Шарля-Анри Кюэна, «...Концептуальное производство носит настолько *инфляционистский* характер, что чтение и понимание нового текста часто составляют весьма трудное упражнение и требуют акробатических способностей в области лингвистического перевода, добровольной амнезии относительно множества предшествующих означаемых (классических или недавних) и, одновременно, непосредственного обучения новым терминам. Цена этого была бы приемлемой, если бы она была пропорциональна полученным эпистемологическим, теоретическим или когнитивным

⁴⁸ О подобной тенденции уже более четверти века назад писал Джонатан Тернер. (См.: Тернер Дж. Структура социологической теории. – М.: Прогресс, 1985. – С. 36–37). К сожалению, она сохраняется до сих пор.

выигрышам. Но часто средняя продолжительность жизни этих концептов не превышает продолжительности чтения статьи или книги, в которых они появились. Что касается нудных упражнений в области перевода, то они тем более бесполезны, что касаются обычно давно известных, даже тривиальных, означаемых».⁴⁹ Описанная ситуация тесно связана с описанной выше модой № 1.

Конечно, повторюсь, социологическое знание не стоит на месте, оно развивается и изменяется. Тем не менее, нельзя под видом изменения научной дисциплины, самоутверждаться в ней посредством ее разрушения. Социологическая теория, развиваясь и обновляясь, должна сохранять верность своим базовым основаниям, позволяющим ей считаться социологической. Не увлекаясь непрерывными пересмотрами этих оснований и громогласными их ниспровержениями, которые исчезают так же быстро, как появляются, она должна заниматься получением нового научного знания о социальных явлениях, приращением и развитием этого знания, его культивированием, распространением и применением. Задача теоретической социологии – не эпатировать коллег и публику, а активно участвовать в этих процессах. Такой подход, может быть, выглядит не так увлекательно, как разного рода модные теоретические игры, зато гораздо более серьезен и плодотворен в долгосрочной перспективе.

Социология как мировоззрение в современной России

В отличие от советской эпохи, когда под видом социологии зачастую выступала специфическая политическая идеология, теперь, наоборот, социология, полностью сохраняя приверженность идее автономии, ценности и самооценности научного знания, может и должна стать своего рода идеологией, объединяющей разнообразные социальные силы и тенденции современной России. Сегодня представление о социологии в массовом

⁴⁹ Cuin C.-H. Ce que (ne) font (pas) les sociologues: Petit essai d'épistémologie critique. – Genève: Droz, 2000. – P. 72.

сознании связано почти исключительно со всякого рода опросами, измерениями рейтингов и политтехнологиями. Она воспринимается, прежде всего, как орудие манипулирования сознанием людей в интересах политической и деловой элиты. Постепенно в обществе формируется мнение, что иной роль социологии не может и не должна быть. Отсюда, в частности, и снижение престижа этой науки. Задача социологического сообщества в том, чтобы изменить это положение. Необходимо радикально изменить взгляд на социологию как на дисциплину сугубо утилитарную и техническую, поскольку это фактически не так. Помимо развития прикладных и познавательных сторон и функций социологии, следует всячески развивать и пропагандировать её как мировоззрение, существенно влияющее на сознание и самосознание российского общества, как научную дисциплину, обосновывающую, проясняющую и формирующую его гражданскую религию.⁵⁰ Остановимся лишь на трёх чертах или идеях, характерных для этого мировоззрения и непосредственно касающихся нашей темы.

1. Идея общества. Категория «общество», ключевая для социологии и, казалось бы, даже сверхбанальная для самого общества, тем не менее, в современной России нуждается в обосновании, возрождении и постоянном прояснении. Это тем более актуально, что и в некоторых зарубежных социологических теориях эта категория ставится под вопрос (см. об этом выше, о моде № 4). Речь идёт и об универсальных принципах и механизмах общества (социальности и т.п.), и о специфических видах социальности (в частности «гражданского общества»), и о таком уникальном образовании, как российское общество, и об обществах более частного масштаба. Это относится не только собственно к научному, но и символическому и ценностному значению понятия общества. В настоящее время эта идея в

⁵⁰ Подробней об этом см. в нашей статье: Гофман А.Б. Социология и гражданская религия в современной России // Социология и современная Россия / Под ред. А.Б.Гофмана. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 84–107.

России либо вообще исчезла, либо находится на периферии общественного внимания. И это не удивительно, учитывая, что в стране на протяжении многих лет в социальной псевдонауке, выступавшей под именем марксизма-ленинизма, основным субъектом социально-исторического действия провозглашалось не общество, а классы. Само же общество трактовалось в социал-дарвинистском духе как арена беспощадной борьбы между классами, борьбы с врагами: внутренними и внешними, тайными и явными. В результате общество, даже российское, не говоря уже о более широких и глобальных, сверхнациональных и сверхгосударственных образованиях, а также более мелких социальных образованиях, стало восприниматься как своего рода иллюзия или фикция, используемая исключительно для достижения каких-то геополитических или военно-стратегических целей. При этом в классовых интерпретациях истории рядом сосуществовали две взаимоисключающие концепции. В одних случаях подлинными распорядителями исторического процесса объявлялись господствующие классы, навязывающие свою волю остальным классам и слоям; в других, наоборот, объявлялось, что подлинные творцы истории – народные массы. Таким образом, если в первых концепциях от роли полноправных субъектов истории отлучались низшие классы, то в последних, наоборот, высшие. Общество же как целостный субъект социально-исторического действия рассматривалось как либо своего рода эпифеномен, либо как сущность, объясняемая, прежде всего, борьбой классов как подлинных субъектов истории.

Правда, с 1960-х – 1970-х годов в СССР разрабатывались и внедрялись тезисы об «общенародном государстве», о советском народе как «новой исторической общности» людей и о «морально-политическом единстве» этой новой общности. Однако искусственный характер этих идеологических конструкций, продолжавшаяся борьба с «чуждыми» элементами и, наконец, распад Советского Союза, довольно быстро разрушили эти слабые ростки идеологии единого общества. К тому же «российское общество» и «советское

общество» – понятия хотя и близкие, но не тождественные. В целом же в условиях постоянных репрессий, непрерывных разоблачений, борьбы с реальными и мнимыми врагами, внутренними и внешними, в СССР сложилась ситуация своего рода «институционализированной паранойи», сформировавшая соответствующий тип личности и сознания. Для этого типа общество всегда является ареной борьбы с некими «темными» силами, которые либо рвутся к власти, либо уже захватили её: само же по себе оно не составляет особой сущности и реально действующего субъекта.

Неудивительно, что и сегодня этот тип параноидального сознания в России продолжает существовать и влиять на восприятие социальной действительности. В результате в обществе циркулирует множество всякого рода мифов и фантазмов относительно того, что есть общество вообще и российское общество в частности. В некоторых околонучных и околорухудожественных концепциях возрождается и повторяется старый миф расово-антропологической школы, согласно которому главные субъекты исторического процесса – уже не классы, а «этнoсы» и «нации», понимаемые не как социокультурные, а как природные, т.е. расово-антропологические образования, наделяемые некими изначально фиксированными и вечными наборами признаков. Нельзя забывать, что именно торжество подобных взглядов в Германии в своё время обернулось для страны национальной трагедией; лишь искоренение их позволило ей выйти на путь успешного развития. Сегодня же собственные этнические стереотипы, предрассудки и ничем не обуздываемая фантазия некоторых российских теоретиков «этнoса» позволяет им смело рисовать «национальные картины мира», лихо приписывать тем или иным народам некие черты, нисколько не заботясь о том, чтобы эти «картины» имели хоть какое-то отношение к реальности. Подобные фантазии можно было бы оставить на совести этих мифотворцев, не придавая им особого значения или же рассматривая их лишь как объект для изучения серьёзной науки, если бы не та реальная и потенциальная опасность для России, которую они в себе содержат. Как и старые теории

расово-антропологической школы, они выступают в качестве обоснования идеологии межнациональной ненависти и ксенофобии, способствуют обострению этнических и национальных проблем внутри страны и её международной изоляции.

Научное и гражданское призвание подлинной, серьёзной социологии в России состоит, в частности, в исследовании и демонстрации того, что главные субъекты социально-исторического действия – не этносы, не нации, отождествляемые с этносами, а общества, т.е. индивиды и группы, объединённые многообразными экономическими, политическими, культурными связями и интересами, общей историей, языком, общими традициями, ценностями, целями и волевыми усилиями. Единство и самоидентичность любого общества – это не только и не столько *начальный пункт*, сколько *результат* его исторического развития. Познавая российское общество и его основания, пропагандируя истинное знание о нём, социология может эффективно способствовать реальному формированию общества граждан, которое можно было бы уважать, которому можно было бы верить, которое можно было бы любить.

Весьма полезным в этой связи мог бы оказаться опыт французской социологии периода Третьей республики (с учетом, разумеется, всех особенностей, отличающих нынешнюю Россию и тогдашнюю Францию). Франция в то время, как и современная Россия, испытывала состояние ценностно-нормативного и институционального кризиса. Не случайно в то время и в том месте появляется понятие аномии.⁵¹ На рубеже XIX-XX веков Франция была охвачена тревожными и апокалиптическими настроениями. Само существование страны ставилось в это время под вопрос. И здесь

⁵¹ Вопрос о значении этого понятия, его теоретической ценности и применимости к современному российскому обществу заслуживает специального рассмотрения. Отчасти я касаюсь его в работе: Гофман А.Б. От какого наследства мы не отказываемся? Социокультурные традиции и инновации в России на рубеже XX–XXI веков // Традиции и инновации в современной России: Социологический анализ взаимодействия и динамики / Под ред. А.Б. Гофмана. – М.: РОССПЭН, 2008. – С. 38, 59.

важную роль в преодолении кризиса французского общества сыграла социология Дюркгейма и его школы. Дюркгейм видел истоки кризиса, прежде всего, в ценностно-нормативном вакууме: «...Прежние боги стареют или умирают, а новые не родились».⁵² Чрезвычайно важная роль социологии в его понимании была связана, прежде всего, с её объектом – обществом, в котором он видел реальный объект всех религиозных культов и которое в его интерпретации выступает не просто как специфическая реальность наряду с другими, а как высшая сакральная и трансцендентная сущность, достойная почитания и поклонения; он говорит о нём с пылом и страстью пророка. «Социологизация» Бога в его концепции сопровождается обожествлением общества: как когда-то верно заметил Толкотт Парсонс, реальное значение дюркгеймовского труда «Элементарные формы религиозной жизни» состоит не в том, что «религия есть социальное явление», а в том, что «общество есть религиозное явление».⁵³ Именно общество, по Дюркгейму, в современных условиях выступает как высшая сущность, санкционирующая моральные нормы и ценности, как моральный авторитет, на который опирается выполнение морального долга. В этом качестве общество оказывается сущностью столь же сакральной и значимой, что и Бог: «Нужно выбирать между Богом и обществом. Я не стану рассматривать здесь доводы в пользу одного или другого решения, которые тесно связаны между собой. Добавлю, что для меня этот выбор не столь уж важен, ибо в божестве я вижу лишь общество, преобразенное и осмысленное символически».⁵⁴

Все эти идеи нашли выражение в том, что во Франции Третьей республики социология оказалась теснейшим образом связанной с проблемами морали и воспитания; это дало основание в своё время говорить

⁵² Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. – P.: Alcan, 1912. – P. 610–611.

⁵³ Parsons T. The structure of social action. – N.Y.: McGraw-Hill, 1937. – P. 427.

⁵⁴ Дюркгейм Э. Определение морального факта // Дюркгейм Э. Социология: Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Терра – Книжный клуб, 2008. – С. 264.

о «морально-воспитательном прагматизме» французской социологии этого времени.⁵⁵ Социология выступала, прежде всего, как научное обоснование морали, в том числе гражданской, и как орудие воспитания подрастающего поколения. Собственно социологические проблемы, как правило, дискутировались с учётом тех моральных и педагогических последствий, которые могут возникнуть в процессе их решения. Социология стала обязательным предметом преподавания в средней школе. В небольших по объёму курсах социологии, преподаваемых лицеистам, принципы морали тесно увязывались с идеей общества. В университетах преподавание социологии также соединялось с нравственно-педагогической тематикой. В программах подготовки студентов философских факультетов социология фигурировала вместе с этикой. Характерны в этом отношении названия кафедр, которые возглавлял Дюркгейм: в Бордоском университете это была кафедра «педагогике и социальной науки», а в Сорбонне – кафедра «науки о воспитании и социологии». Хотя вклад социологии в социальную идеологию Франции того времени не стоит преувеличивать, несомненно, он был весьма значительным, и без него кризис в стране носил бы гораздо более острый характер.

На этом фоне состояние преподавания социологии в сегодняшней России выглядит особенно удручающим. В средней школе социология, а вместе с ней идея общества, почти отсутствуют. В высшей школе социология теперь вычеркнута из перечня обязательных учебных дисциплин, а это, учитывая её колоссальное мировоззренческое и нравственное значение, – драматическая ошибка с весьма серьёзными последствиями. Не показывая значения общества как фундаментальной основы священных ценностей, объединяющих людей, погружая подрастающее поколение в атмосферу непрерывных межгрупповых конфликтов, скандалов, обличений,

⁵⁵ См.: Гофман А.Б. Дюркгеймовская социологическая школа // Гофман А.Б. Классическое и современное: Этюды по истории и теории социологии. – М.: Наука, 2003. – С. 466.

разоблачений (зачастую вполне обоснованных, но не имеющих никакого практического эффекта, так как репутация не имеет значения), мы рискуем вырастить поколение людей разочарованных, циничных, лишённых представления о гражданских правах и обязанностях.

2. *Идея социальной солидарности.* Социология – основная наука, обосновывающая реальность и необходимость социальной солидарности, взаимозависимости отдельных индивидов, социальных групп, категорий, регионов и т.д. В этом утверждении нет никакого прекраснотушного или утопического видения действительности. Собственно, социология и родилась исторически как научное средство преодоления эгоизма: индивидуального, классового, национального, – и вместе с тем утверждения солидарности между индивидами, социальными группами и обществами. Есть все основания полагать, что социальная солидарность относится к числу наиболее достоверно установленных социологией общих фактов социальной жизни. Во всяком случае, важно осознать, что это не менее «естественный», «нормальный» и распространённый феномен, чем социальный конфликт. Слишком очевидная реальность последнего зачастую скрывает и от специалистов, и от публики не менее фундаментальную реальность солидарности и согласия в обществе. Отчасти подобная абберация связана с тем, что общественное внимание гораздо больше сосредоточено на социальных конфликтах, чем на солидарности, что выражается, помимо прочего, и в том, что число исследований первых в социологии неизмеримо больше, чем последней.⁵⁶ И это вполне объяснимо, так как конфликты обычно тесно связаны с разного рода проблемами, требующими решения и активного вмешательства. Что же касается солидарности и согласия, то зачем их, собственно, исследовать, если с ними и так всё хорошо: ведь «от добра добра не ищут»? В результате, однако, и в исследовательском, и в обыденном

⁵⁶ См. немногочисленные примеры теоретического изучения социального согласия в российской социологии: Акулич М.М. Социология согласия. – Тюмень: Изд-во Тюменского университета, 2002; Эфиров С.А. Социальное согласие: Утопия или шанс? – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2002;

сознании образуется перекося, имеющий весьма серьезные мировоззренческие последствия.

В силу ряда более или менее известных причин, сегодня в России сформировался социальный тип человека, в глазах которого вражда – явление нормальное и естественное, вечное и неизбежное, тогда как согласие – своего рода патология, отклонение от нормы. Торжество принципа «Человек человеку волк» в сознании довольно быстро приводит к его реализации в практике, что мы сегодня постоянно и наблюдаем.⁵⁷ Между тем, ещё раз следует подчеркнуть, подлинная социальная наука, признавая и изучая всякого рода конфликты, в целом совсем не считает их фактором доминирующим в сравнении с солидарностью. В известном смысле солидарность – условие *sine qua non* социальной жизни; в конце концов, прежде чем конфликтовать, люди так или иначе объединяются. «Ни одно общество – отмечал Парсонс – не может поддерживать стабильность, имея в виду потенциально возможные конфликты и кризисы, если интересы его граждан не определяются солидарностью, внутренней лояльностью и взаимными обязательствами».⁵⁸

⁵⁷ В исследовании «старого» ВЦИОМа (ныне – «Левада-центр») на вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что большинство людей готовы помочь другим людям, или Вы считаете, что они больше всего заботятся о себе самих?» 70% респондентов ответили: «Большинство думает только о себе» и лишь 13% готовы признать некоторую долю альтруизма в окружающих людях. (См.: Гудков Л. Отношение к правовым институтам в России. // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. – М., 2000. – № 3. – С. 39). В 1999 г. 74% опрошенных указали, что они могут вполне доверять лишь одному–двум близким людям. (См.: Левада Ю. Человек лукавый: Двоемыслие по-русски // Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки: 1993 – 2000. – М.: Моск. шк. полит. исслед., 2000. – С. 527). Десять лет спустя ситуация в данном отношении явно не изменилась к лучшему. Помимо роста недоверия наблюдается тенденция к усилению двоемыслия и лицемерия, характерных для советского времени.

⁵⁸ Парсонс Т. Понятие общества: Компоненты и их взаимоотношения // Теоретическая социология: Антология / Под ред. С.П. Баньковской. – М.: КДУ, 2002. – Ч. 2. – С. 17.

Конечно, существует теоретическая традиция, идущая от марксизма и некоторых вариантов социального дарвинизма и обосновывающая конфликтную модель социального развития. Но даже в этих теориях конфликт иногда рассматривается как средство достижения солидарности, и последняя занимает в них определённое место: и в качестве внутригруппового, внутриклассового явления, и в качестве первобытного и будущего состояния всеобщей гармонии (в марксистской утопии) и т.д. Главное же в том, что такого рода представления, во-первых, далеко не бесспорны в своих общетеоретических притязаниях, во-вторых, составляют лишь одну и отнюдь не доминирующую теоретическую тенденцию в социологии.

Существует и другая базовая тенденция, которая в значительной мере, явно и неявно, пронизывает всё социологическое мировоззрение. С этой точки зрения, и теоретически и фактически неверно признавать социальную и групповую вражду «нормальной», т.е. непрерывной и повсеместной. Кооперация, взаимообмен и сплочённость – во всяком случае, не менее фундаментальные и универсальные явления социальной жизни, чем конфликт. То же самое относится к конкуренции, которая отнюдь не тождественна последнему. Да и сам конфликт, эффективно, мирно и вовремя разрешаемый, нередко играет социально функциональную роль, выступая как симптом социальных проблем и средство восстановления социального равновесия и согласия. Социальная солидарность в любом случае – исходный и первичный социальный факт; в значительной мере это синоним общественного состояния, внутри и на фоне которого могут разворачиваться социальные конфликты.

Необходимо иметь также в виду эффект так называемого «самосбывающегося пророчества», о котором уже упоминалось: провозглашение социальной вражды «нормальным», повсеместным и неизбежным явлением, будучи фактически неверным, в то же время может служить и служит средством её обоснования, оправдания и практического

внедрения. И наоборот, признание солидарности нормой социальной жизни влечёт за собой активный поиск путей её осуществления и может реально способствовать этому осуществлению.

Итак, социальная солидарность – это факт: российское общество, как и любое другое, поскольку оно существует и продолжает существовать, базируется не только на принуждении, не только на экономической взаимозависимости, интересе и договорных отношениях, но и на более или менее высокой степени солидарности. Но необходимо ещё, чтобы реальное единство было *осознано*, а это, как уже отмечалось, дело совсем не простое и само собой не возникающее. Нужна длительная и упорная работа по формированию *чувства* социальной солидарности, объединяющего реально взаимосвязанных индивидов и группы. И в этом процессе опять-таки важнейшая роль принадлежит социологии. Именно эта наука проясняет солидарность как факт, а отсюда – и солидарность как долг. Социология призвана показать, что поскольку в качестве членов общества мы связаны между собой бесчисленными узами, поскольку мы *реально обязаны* друг другу (не случайна этимологическая связь этого слова со словом «обязаны»), постольку мы *обязаны быть обязанными друг другу*. Без понимания реальности и священности социальных связей, заключённых в идее солидарности, выполнение моральных и гражданских обязанностей становится проблематичным, выступая как чисто принудительная, навязываемая извне процедура.

В связи с изложенным, политика толерантности, которую сейчас стремятся осуществлять различные, в том числе властные, институты российского общества, представляется, по меньшей мере, недостаточной. Толерантность – лишь один из аспектов, или крайняя точка шкалы «нормальных» взаимоотношений в обществе. Хорошо, если представители различных групп и слоев терпят друг друга, но этого явно недостаточно. Толерантность, чтобы быть реальной и эффективной, должна быть включена в более широкую гамму связей и отношений, охватываемых социальной

солидарностью; этот континуум солидарных связей должен включать в себя и любовь и симпатию и т.п. Без такого континуума, как и без ощущения общей идентичности, толерантность всегда будет существованием на грани конфликта и вражды.

Солидарность – одно из главных понятий социологии. Мы находим его и у Огюста Конта, и у Эмиля Дюркгейма, и у многих других классиков. В данной связи уместно вновь сослаться на исторический опыт Третьей республики во Франции. «Солидаризм» для неё стал одним из основных идеологических символов и ценностных принципов. Произошло это в значительной мере благодаря усилиям социологов, особенно таких, как Дюркгейм, сделавший социальную солидарность основной идеей своей социологии, и его последователи, в частности, Селестен Бугле. По словам последнего, солидаризм в Третьей республике стал чем-то вроде официальной философии.⁵⁹ Идея солидарности находила обоснование у экономистов (Шарль Жид), у юристов (Леон Дюги), философов, моралистов, политических деятелей. Своего рода манифестом солидаризма стала многократно переиздававшаяся книга известного политического деятеля, лауреата Нобелевской премии мира 1920 года, Леона Буржуа «Солидарность» (1897), в которой он обосновывал необходимость морально-политического единства французского общества, опираясь и на научные, и на этические аргументы.⁶⁰ В целом идеология солидаризма во Франции того времени явилась существенным вкладом в снижение социальной напряжённости и сохранение республиканского режима в стране. Она, в конечном счёте, смогла успешно противостоять, с одной стороны, реакционным монархистам, клерикалам и националистам, с другой – леворадикальному коммунистическому движению.

В истории российской социологии идея социальной солидарности занимает центральное место. Мы находим её в трудах П.Л. Лаврова, Л.И.

⁵⁹ Bouglé C. Le solidarisme. – 2-ème éd. – P.: Alcan, 1924. – P.7.

⁶⁰ См.: Bourgeois L. Solidarité. – 7-ème éd. (rev. et augm.) – P.: Colin, 1912.

Мечникова, Н.Д. Ножина, Н.К. Михайловского, Я.А. Новикова, П.А. Кропоткина, М.М. Ковалевского и других мыслителей и ученых.⁶¹ Но и «солидаризм» как идеология также имеет корни в российской, прежде всего, в эмигрантской мысли XX века, в частности, в трудах С.А. Левицкого, Р.Н. Редлиха и других теоретиков. Эта идейная традиция также может и должна быть продолжена и использована в современной России.

3. *Рационализм* – ещё одно достоинство социологического мировоззрения, которого нам часто не хватает и которое чрезвычайно необходимо в России. Нашу страну можно упрекнуть в чём угодно, но только не в избытке рационализма; избытка этого у нас никогда не было. Не было мощных традиций картезианского рационализма и сциентизма, как во Франции; панлогизма, как в Германии; утилитаризма, как в Великобритании; прагматизма, как в США или специфического прагматизма, как в Китае. В этих странах, возможно, рационального начала могло бы быть и поменьше. В России же оно, разумеется, всегда также присутствовало, но его удельный вес всегда был сравнительно невелик; напротив, влияние иррационалистических тенденций в культуре было и остается весьма значительным. Из зарубежных теорий именно иррационалистические пользовались в стране наибольшим успехом и влиянием. Это относится и к марксизму, в котором была воспринята не его позитивистско-научная, а романтико-утопическая и мессианистская сторона.⁶² Научное познание человека и общества, как правило, занимало подчинённое положение по отношению к таким жанрам, как беллетристика, литературная критика и публицистика. Именно писатели, а не учёные, считались в России

⁶¹ Подробнее об этом см.: Гофман А.Б. Эмиль Дюркгейм в России: Рецепция дюркгеймовской социологии в российской социальной жизни. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – С. 19–25.

⁶² См. об этом убедительный и ставший классическим анализ Николая Бердяева, который можно считать также подлинно социологическим: Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. – (Репринтное воспроизведение парижского издания: Berdiaeff N. Istoki I smysl russkogo kommunizma. – P: YMCA-press, 1955).

«инженерами человеческих душ».⁶³ В сочетании со множеством социальных мифов и сказок, постоянно воспроизводящихся на российском социокультурном и политическом пространстве (о светлом будущем, светлом прошлом, о кознях многочисленных внутренних и внешних врагов, о разного рода чудесах и т.п.) это составляет мощный слой иррационализма, затрудняющий понимание социальных процессов и порождающий огромный разрыв между идеалом и действительностью. Конечно, со сказками бывает жить интереснее, но плата за них в нашей стране всегда была и остаётся слишком высокой. Необходимо, напротив, побольше рациональности, рассудочности, реализма, утилитарности, трезвости, позволяющих смотреть прямо в лицо суровой действительности.

Несомненно, социология призвана практически усовершенствовать общество и его институты. Вместе с тем, она может и должна, с одной стороны, приблизить идеал к действительности, очистив его от множества фантазмов и сделав его более рациональным и реалистичным; с другой – наоборот, наполнить реальность подлинно священными ценностями, привить людям уважение к другим, к обществу и его институтам. Только тогда у нас будет общество не «государственников», а *граждан*, отвечающих за самих себя, за своё общество и за своё государство. Таким образом, социологическое просвещение в России окажется также и существенной частью проповеди гражданской религии. Ведь гражданское общество можно построить только при условии признания священности тех ценностей и институтов, на которых оно базируется.

В заключение и во избежание возможных недоразумений необходимо подчеркнуть, что, разумеется, главные проблемы современного российского общества сосредоточены и могут быть решены, главным образом, не в сфере идей, а в сфере социальных институтов. Я имею в виду, в частности, такие хорошо известные хронические болезни российского общества, как

⁶³ См. об этом: Гофман А.Б. Эмиль Дюркгейм в России. Указ. соч. – С. 48–55, 70–75.

монополизм и отсутствие конкуренции в экономике, политике и других областях; бюрократический произвол, коррупция и неэффективное управление; отсутствие реальных инноваций, под видом которых иногда выступают лишь новая символика или традиционное бюрократическое прожектерство; архаическая структура экспорта; разрыв между словом, мыслью и делом на всех уровнях и т.д. Все это требует изменения и обновления институтов российского общества, ориентированных на долгосрочную перспективу. Данная задача сегодня остается столь же актуальной, как и двадцать лет назад. Все это требует основательной рефлексии в социологической теории. Но сами эти трансформации в свою очередь могут произойти только при наличии определенной рациональной идеологии, коллективной воли и социальной солидарности. И в данном отношении вклад социологической теории также может и должен быть очень значительным, гораздо более значительным, чем сегодня.